



Николай Работнов

Сороковка

Памяти моих родителей и брата

Начать, наверное, нужно вот с чего. Девятого марта 1953 года в два часа дня по уральскому времени я намотажу стоял у радиоприемника с глазами на мокром месте. В нашей трехкомнатной квартире, где жили пятеро, я был один. Квартира занимала половину коттеджа, стоявшего в вековых соснах на тихой улице, которая так и называлась – Сосновая. Где-то совсем рядом раздавались непрерывные размотонные гудки – я не мог представить, где, потому что никаких фабричных труб в самом городке, казалось, не было. В этот день мне исполнилось семнадцать лет, и к моей искренней скорби, казавшейся частью горя всеохватного, всенародного, применявшаяся недостойная мысль о пропавшем две рожденья. Гудки унялись, я накинул полушубок, вышел на Сосновую и долго стоял в растерянности на заснеженной, еще совершенно зимней улице, не зная, куда направиться...

Десятого октября 1989 года поздним, темным вечером я стоял точно на том же месте и тоже давился горьким комком в горле. Я не был здесь больше тридцати лет. Внешние улицы не изменились совершенно, кроме табличек на домах – теперь она называлась улицей Семенова. По пути сюда я убедился, что почти все окрестные улицы названы именами людей, которые в пятьдесят третьем были нашими соседями и друзьями отца. Многие из них умерли рано. И никому кроме меня из жившей здесь когда-то нашей дружной семьи вернуться сюда было уже не суждено... В десять вечера дома на улице Семенова были странно темны, ни огонька и в обеих квартирах нашего бывшего дома. Мелькавшая по дороге мысль – постучаться, что-то спросить – стала нелепой. Ночь наступала ледяная, был крепкий морозец, но огромное озеро за соснами слышно шумело, хоть было и не рядом.

Ветер здесь и раньше дул всегда только с заозерных гор, с запада. Именно поэтому город был поставлен так, как стоял, именно это спасло его в пятьдесят седьмом году от эвакуации, дозиметр здесь и сейчас показывает нормальные десять микрорентген в час. А тогда, в пятьдесят седьмом, дальше на восток, за огромным кольцом охватывавшей город и комбинат зоны, тоже в октябре, в отрезанных от всего мира зауральским бездорожным деревеньках с еле пробивавшимся вездеходов или севших за окольней «скукурузников» довертолетной эпохи высаживались солдаты и – скорей! скорей! ничего нельзя брать! вам за все заплатят! – вывозили жителей, расстреливали скот. Позже выкопали большие ямы у изб и спихнули их туда бульдозерами вместе со всем скарбом – есть ли еще где такое кладбище домов?

Я об этом знаю только по рассказам, наша семья за десять месяцев до аварии уехала из Сороковки. Так я буду называть этот город. Под этим именем он был известен и своим жителям, и тем не слишком многочисленным людям на Большой Земле, которые знали о его существовании. Именно так я бы посоветовал назвать его той комиссии по топонимике – областной? республиканской? – которая уже в девяностые годы нанесла его на карту как Озерск. Я не понимаю, почему это сделали так поздно. В довольно давнем американском издании «Советское ядерное оружие» я видел снимок района Сороковки, сделанный с одного из первых разведывательных спутников серии «Интелсат», фотокамеры которого имели разрешение двадцать метров (сегодня оно гораздо выше). Над Сороковкой сбился Пауэрса, но это был не первый, не второй и не десятый полет У-2. А только в конце восьмидесятых и только в связи с появлением сообщений об аварии пятьдесят седьмого года, которую называют по имени ближайшего райцентра Кыштымской, сквозь зубы стали проносить и пи-

сать успешнее смениться кодовое название Челябинск-65, печатать осторожные журналистские репортажи из города и с комбината. Я жил в Челябинске-40, это город моей юности, который был и остался для меня лучшим местом на земле. Уехав, я уже не мог туда вернуться. После окончания института я стал сотрудником того же ведомства, но моя работа к Сороковке отношения не имела, зона для меня закрылась...

А теперь отступим от начала на несколько лет, в сорок девятый год. Денобилизовавшийся в сорок шестом отец не так давно защитил в МГУ написанную в основном еще до войны диссертацию по теплопроводности кристаллов и получил кафедру общей физики в Ярославском пединституте. Жизнь налаживалась. Двухкомнатная квартира (в многоэтажном доме с центральным отоплением — и вдруг еще с русской печкой!) не казалась тесна. Появился достаток, уже больше года мы ели досита, привычны стали белые булочки с маслом, поразившие меня как громом в пореформенном декабре сорок седьмого, довоенное время я почти не помнил. Мама, врач-лаборант, всю войну совмещавшая работу в трех местах — поэтому мы все-таки голодать не голодали, — вдруг потеряла девическую стройность, стала неудержимо поправляться. Отец, прошедший всю войну артиллеристом и закончивший ее в Кенигсберге, вернулся без единой царапины.

Мир был прекрасен. Конечно, я не замечал того, что так и не вышла замуж ни одна из трех моих теток, а им всем уже было за тридцать. Одна из них, Анна Николаевна, сестра отца, в самом начале года вдруг внезапно и как-то непонятно уехала. Непонятность была в том, что никто мне не сказал — куда. Завербовалась — употребительное тогда слово и употреблявшееся часто без пояснений и адресов. Она была инженер-химик, всю войну проработала в сменах на первом в стране Ярославском заводе синтетического каучука СК-1. Их сильно бомбили. Ярославль был запасной целью у немецких бомбардировщиков, ярославскую ПВО они явно предпочитали московской. За пять домов от нас был свесен целый квартал. В нашем доме, потеснив институт, разместились большой эвакугоспиталь, где лежали в основном прикованные к постели тяжелораненные. Во время бомбежек они начинали громко, в голос, кричать. Ни в пять, ни в шесть лет я не осознавал опасности, не боялся взрывов, близких пожаров, тراسсирующих очередей — но этого крика боялся и отчетливо помню его до сих пор. Кирпичная домишка маленького институтского гаража была превращена в покойнидую. Она не пустовала. Туда сносили не только трупы, но и ампутированные конечности. Окна в гараже были выбиты и редко заколочены досками, мы, ребята, постоянно туда заглядывали. Покойников нагишом укладывали на топчаны, а отрезанные руки и ноги — прямо на грязный пол.

С переломом в войне госпиталь ушел за него, а в здании разместили больницу для вывозимых из блокады ленинградских детей. Туда доставляли самых истощенных, погибавших. Смертность среди них была жуткая — гораздо выше, чем среди равных. Гараж действовал в том же качестве, в первые дни после прихода транспорта с детьми бывал просто забит. Пару раз я видел, как его разгружали. Подрезкала подвода на резиновом коду, на ней стоял большой ящик из досок. Два санитаря выносили трупы в простыне за углы и, раскачив, забрасывали в ящик. Не помню, чтобы при этом присутствовал хоть кто-нибудь кроме извозчика и нас, любопытных малышей, гараж был на задворках. Хотел бы надеяться, что память мне изменяет. Полный ящик с подводы снять было невозможно. Значит, их бросали нагишом в яму. А ведь это был все-таки тыловой город. Сейчас, задним числом, эти детские похороны говорят мне об эпохе моего детства больше, чем что-либо другое.

Так вот, весной сорок девятого года отец пришел откуда-то озабоченный и сказал, что мы скоро уезжаем «к тете Нусе». Спустя многие годы я узнал, как было дело. Отец был беспартийным (и оставался им до смерти Сталина), но его вызвали в обком и предложили новую важную работу по специальности, упомянув про сестру, которая там уже работает и хорошо себя зарекомендовала. На робкий вопрос: «Могу ли я отказаться?» — было мягко сказано: «Можете, конечно, но мы вам очень не советуем...» А затем его в отличие от сестры вызывали и в Москву, в ЦК, поскольку, как выяснилось, должность ему планировалась номенклатурная. Он поднял вопрос о зарплате и понял, что допустил неловкость. Было кратко сказано: «Ну что вы, товарищ Работнов! Мы же вас не на торфоразработки посылаем!» Когда ему назвали сумму подъемных — двадцать пять тысяч — стало ясно, что да, не на торфоразработки.

Хотя о характере работы ничего не говоралось, отец прекрасно представлял себе, в чем дело. По его сохранившейся с тридцатых годов библиотеке я знаю, что он следил за развитием ядерной физики, да и слухи о делах Курчатова в профессиональной

среде были достаточно определенны. Была у отца и книга Смита «Атомная энергия для военных целей». Сама история ее издания у нас достаточно красноречива. Это перевод второго выпуска отчета министерства обороны США, предисловие к которому Смит подписал 1 сентября 1945 года, а уже 21 ноября был подписан в набор русский перевод, и книга вышла тридцатитысячным тиражом (в Трансжелдорнаде, в недрах которого зародился будущий Атомкварт). Руку на пульсе мы держали.

Под перевозку вещей выделяли вагон, да не теплушку, а пультман, хотя хватило бы, конечно, и теплушки. Не знаю, было ли это обязательным или таков был выбор родителей, но мы поехали вместе с семейным скарбом в этом товарном вагоне. В него встроили высокие нары, мы уложили их перинами и матрацами, загрузили мебель. Перед почти не закрывавшейся дверью поставили стол и прекрасное отцовское кресло резного дуба со львиными головами — точно такое, в киком Сталин сидел на Ялтинской конференции. Нас потолкали сутки на станции Всполье и повесали на восток.

Для меня и младшего — на два года — братишки, путешествие было, конечно, чистым равлечением. Началось оно в последних числах мая и продолжалось две недели. В память врезались только эпизоды на переформировках. С нашим шлоном — пассажиров в нем больше не было — на горках не церемонились. Один раз мы, все трое мужчин, ушли на вокзал, оставив маму одну, а когда вернулись, застали ее всю в синяках и царапинах, с вырванными рукавами платья. Ударило так, что она полетела кувырком, цепляясь за мебель, веревочка со сковородкой опрокинулась, как еще не загорелась. А однажды мы услышали на соседнем пути довольно звучный, сопровождавшийся странным треском и звоном удар, а несколько позже страшную и длительную матерную ругань. Отец побежал узнать, в чем дело и, вернувшись, со смехом рассказал историю. Ударился вагон с водкой. Башмачник и стрелочник просили у сопровождавшего груз экспедитора пару бутылок. Он не дал. Тогда они поставили башмак ближе к «набойке» и рассчитали все очень точно. Вместо пары бутылок экспедитор не досчитался многих ящиков. Не знаю, конечно, как это сошло станционным с рук, но они, наверное, знали, что делали. Когда сейчас говорят, что при Кагановиче на железных дорогах был порядочек, мне всегда вспоминается этот случай.

Адрес у нас был — Челябинск. Многие железнодорожники по пути говорили, что нам нужно в Кыштым, не одни мы, чувствуется, так ехали. Но Кыштым проехали, хоть и стояли в нем много часов! На родителей он произвел очень тяжелое впечатление. Природа там и так суровее средней полосы, а тут еще в день нашего проезда — и нове! — вдруг выпал густой, ковром, снег. И город был унылый, бедный, застроенный по-деревенски. Приуныли. Развеселило необычное зрелище: по улице на мотоцикле с калеской вдруг прончался... священник в расе и круглой шляпе, с развевавшейся бородой. Этот мотоцикл был местной достопримечательностью, про него все знали и в Сороковке.

В Челябинске для оформления нужно было явиться в неприметный барак недалеко от вокзала, совсем не производивший ни внутри, ни снаружи впечатления принадлежности к солидному учреждению. А учреждение, в разные периоды называвшееся «Базой 10», Южно-Уральской конторой Главгорстроя (шутники, разумеется, добавляли — по заготовке рогов и копыт) и, наконец, производственным объединением «Маяк», было и остается одним из самых солидных в стране.

Нас благополучно переадресовали в Кыштым (взяв за это пятьсот рублей штрафа!), и мы покатали обратно. Уже было тепло, даже жарко, солнечно, и красота местной природы начала до нас доходить. Встречавший в Кыштыме сказал:

- Вам на Дальнюю Дачу.
- На какую еще дачу?! — опешил отец. — Я работать приехал!
- Вам еще не готово жилье.

С одной стороны, задержка была досадной, походный быт надоел, а с другой стороны, интриговала — что же это за жилье нам готовят?

Привели нас в совершенно райское, хоть и густо, как табор, заселенное место. Это было одно из демидовских поместий на берегу великолепного озера, за которым виднелись горы, называемые Вишневыми. В покрывавшей их тайге виднелись белые пятна, которые, как нам сказали, были зарослями цветущей дикой вишни. А озеро уже было довольно теплым, мы купались. И особенно поразил большой фонтан с чугунной чашей узорного литья. Знаменитые каслинские заводы были неподалеку. А уже позже, в Сороковке, один мой школьный приятель откопал где-то и с трудом притащил к себе в сарай вывеску — и тоже литую чугунную — с надписью «Теченская листокатильная фабрика наследников Льва Расторгуева». Воспоминания о знаменитых ураль-

ских заводчиках еще были живы в тех местах. Теча — небольшая речка, служившая стоком системы озер, ставших водоэмульсионными охладителями для реакторов комбината и, увы, местами сброса стоков радиохимического производства. И озера, и речку ждал незавидная судьба.

Нам дали светлую хорошую комнату в барском доме. Дальней Дачей это поместье прозвал наверняка какой-то высокопоставленный шутник из органов, знавший про сталинские подмосковные жилища. Прожили мы на Даче всего неделю или около того, погрузили вещи на открытую машину и поехали в кузове. С нашей семьей пристроился налетке и морской офицер, зэровец (сокращение ЭПРОН, «Экспедиция подводных работ особого назначения», было очень известно в стране с довоенных времен). Ехать было недалеко. Внушительный КПП, два широко размещенных ряда проволочных заграждений, долгая, внимательная проверка документов. Когда ворота за нами закрылись и машина пошла по внутреннему шоссе, моряк пошутил: — В Кремль въехали!

Мы еще тогда недоумевали — что в этих глубоко сухопутных предгорьях делать моряку? В воспоминаниях А. Сахарова рассказан случай с водолазом, которого послали на верную смерть — ставить на рельсы опрокинувшуюся вагонетку в подрывном бассейне. Место не названо, но речь, конечно, шла о Сороковке. Читая об этом, я вспомнил того веселого водолазного офицера...

Но одно опасение родителей не оправдалось, при въезде нас не обыскивали (при выезде, замечу в скобках, бывало и по-другому, это зависело от уровня пропуска, при первом выезде мамы за зону через год отцу стоило заметных трудов выхлопотать ей пропуск без досмотра). А при отъезде из Ярославля «знающие» люди их пугали. Одним из печальных следствий было то, что перед отъездом родители сожгли все письма, в том числе и все отцовские письма с фронта! Мама не могла себе этого простить до конца жизни, а она пережила отца на четырнадцать лет. Чего, казалось бы, бояться с письмами, прошедшими военную цензуру? Но родители знали время, в котором жили, имели представление о характере возможных сюрпризов. Тем более невероятным может показаться другое из предотъездных приготовлений отца. Он унес из дома и подарил кому-то из приятелей два трофейных пистолета, которые привез после демобилизации и хранил дома в месте, как ему казалось, не доступном и не известном для сыновей. Но мы, конечно, знали. Через много лет он был поражен, когда я сказал ему об этом. Тема огнестрельного оружия еще будет возникать на этих страницах. В длинной веренице прошедших через наши детские руки смертоносных орудий еще появится та, самая, казалось бы, безобидная и приобретенная совершенно законно тульская мелкашка, из которой мой брат сделает в пятьдесят седьмом году роковой выстрел и оборвет свою жизнь в двенадцать лет...

А от КПП до места оказалось далеко! Трудно было поверить, что весь этот огромный кусок таежно-озерного края забран кольцом зоны, а мы еще пересекали только ее жилую, так сказать, открытую часть. Позднее мы поняли, какой в этом был смысл. Простор не давал «вольняшкам» почувствовать того, что они въехали на один из островов ГУЛАГа, позволял не помнить постоянно об ограничении свободы, а оно для большинства было очень существенным. Я впервые выехал за зону лишь через четыре года, когда полетел поступать в институт. Кроме, как сейчас сказали бы, административных рычагов применялись и экономические — тому, кто отпуск проводил в Сороковке, он оплачивался в двойном размере. А еще обширная жилая зона позволяла широко использовать труд расконвоированных заключенных. Мы с этим столкнулись буквально в момент приезда. Выделенное нам жилье было всего лишь комнатой в трехкомнатной квартире, фактически общежитии гостиничного типа. Горничной в этой гостинице оказалась одна из соучениц мамы по ярославской школе, попавшая в заключение еще в войну из-за какой-то истории с продуктовыми карточками. Наверное, от нее мама узнала и передала нам слух, что дом, в котором мы поселились, в числе прочих знаков строили и известные певцы Руславова и Козин. До сих пор не знаю, правда это или нет.

Сейчас пора уже сделать одно существенное предупреждение. То, что я пишу, — детские и подростковые воспоминания о недетском мире. Мне придется здесь упомянуть о многом, чего я не знал и не видел сам, а только слышал от взрослых. Иногда это было невольно подделушанное, каждый из нас на собственном опыте знает, на-

сколько родителя склонны недооценивать внимательность детей к их делам и переоценивать толщину дверей и стенок. Почему я решаюсь записывать все это, полагаюсь к тому же на память того возраста, когда отнюдь не все из случайно узнаваемого можно было понять? По одной-единственной причине — откровенные воспоминания об этих событиях, в которых мемуаристы отрезались бы от давивших на них десятилетия соображений секретности и невольной власти жесточайшей внутренней цензуры, стали появляться лишь в самое последнее время, когда слишком многие из ветеранов ушли из жизни. Воспоминания А. Сахарова, а после его кончины — его друзей и сотрудников — пробили здесь первую брешь. Но и он, совершенно сознательно, из чувства долга, к которому я отношусь с полным уважением, оставил многое «за кадром», а многое и посчитал мелочью. Уровень, с которого он видел события, совершенно иной. Кроме того, я надеюсь, что эти воспоминания и сами неизбежные в них ошибки, неточности помогут «спровоцировать» ныне здравствующих участников этих исторических событий на большую откровенность и детальность. Мне еще в доперестроечные времена удалось это сделать в отношении одного человека — моей мамы. Она успела испустить несколько общих тетрадей, с которыми я сверяю то, что вспоминается, и на которых многое черпаю. Призываю всех ветеранов — пишите! Пишите все точно, как было, вспоминайте каждую мелочь. Только из этой мозаики потомки смогут составить полную картину. В одном могу поручиться — сознательных искажений и приукрашиваний на этих страницах нет.

Маму ожидала и еще одна неожиданная встреча с одноклассником, совершенно другого характера. В командировочных документах отца стояло: «Направляется в распоряжение тов. Сурмача». Он был заместителем директора комбината по кадрам. Когда мама чуть ли не на другой день после приезда его увидела, она узнала в этом полковнике МВД (я его, правда, в форме ни разу не видел) запомнившегося ей по Ленинградскому университету студента физфака, который он успешно окончил. По какой траектории он попал в кадровика довольно высокого полета, я не представляю. Одно могу сказать: внешне это был исключительно обаятельный, остроумный и веселый человек, с очень интеллигентной, приятно картавой речью. С Сурмачами (его звали Николай Емельянович, жену — Елена Петровна) мои родители сразу тесно подружились, и эти отношения прервала только смерть — Н.Е. умер в шестьдесят лет от третьего инфаркта, за рулем автомобиля.

Время для еще одного отступления. Жители Сороковки тогда делились на две основные, сравнимые по численности, категории: сотрудники комбината и служащие МВД и МГБ, из которых значительную часть составляли работники лагерной охраны. Примерно поровну к этим двум группам принадлежали, например, отцы всех моих школьных приятелей. В частности, отцы двух одноклассников, Юрий Б. и Жорж М., были начальниками городских управлений МВД и МГБ соответственно, а отец Жени Т. — генералом МГБ, уполномоченным Советом Министров. Т. был высшим начальником в городе, где никаких признаков советской власти не было, даже формальных. Отсутствовали горсовет депутатов трудящихся, «выборный» суд и горком партии. Их заменяли генерал Т., спецсуд и полкитоддел. Начальником последнего был отец еще одного моего друга детства Володи М., впоследствии делегат XIX съезда. А Володя Л., друг на всю жизнь, был сыном полковника (потом тоже генерала), командира большой воинской части, несшей охрану внешней зоны. Поскольку все атомное ведомство в первые годы своего существования было тесно слетено с МВД, начиная с определенного уровня административного руководства различие между штатскими и военными становилось довольно размытым, отсюда существование так называемых профсоюзных генералов, каким был, например, Борис Глебович Музруков, директор комбината в Сороковке (а до этого, всю войну, директором «Уралмаша», а после — директором предприятия, которое в воспоминаниях А. Сахарова фигурирует как «Объект 1», а сейчас известно как федеральный научный центр Всероссийский институт экспериментальной физики в Сарове, на долгие годы закодированный в Арзамас-16). Музруков, как говорили, даже генеральскую форму шил за свой счет, но посылался в ней довольно регулярно — слишком много кадровых офицеров было у него в подчинении.

В городе тогда было около сорока тысяч человек «градообразующего населения», а вокруг, в кольце лагерей, еще примерно столько же населения «неградообразующего». И начальником этого лагерного комплекса был полковник К., за хорошенькой дочерью которого Ниной, нашей ровесницей и соученицей, большинство из нас, мальчишек, увивалось.

Слово «зона» была самым употребительным в городе. Когда оно произносилось

без прилагательных, было ясно, что речь идет о внешней зоне, за которой начиналась Большая Земля (этот термин, как и во многих других местах Архипелага, был общепотребительным, бытовым). Была огромная промышленная зона, где к нашему приходу уже с год коюсю работали первый реактор и радиохимический завод. Были многочисленные лагерные зоны, как в черте города, так и за ней, и, наконец, временные зоны вокруг каждого из строящихся городских кварталов, а то и отдельных домов. На ночь большинство из них открывались, становились проходными. Забор с колючей проволокой был такой же неотъемлемой деталью городского пейзажа, как дома и деревья. О деревьях следует сказать особо. «Березы там растут сквозь тротуары» — писал Вознесенский о Дубне. Здесь сквозь тротуары росли огромные сосны. Бережное отношение к деревьям поражало, пока кто-то мне не сказал, что это делается «для маскировки с воздуха». При всей незелености этого соображения оно полностью укладывается в логику того времени, и если ему мы обязаны тем, что старые кварталы Дубны, Обиниска и Сороковки стоят, по существу, в хорошем лесу, то в ладу. О новых кварталах этого не скажешь.

Строительные зоны по утрам заполнялись. Бесконечные колонны заключенных в сопровождении автоматчиков входили в город по проспекту Сталина, сворачивали к быстро удалявшемуся проспекту Берия, растекались по забранным колючкой зауткам. С болью и стыдом, как наяву, вспоминаю я сейчас эту картину, которую ежедневно совершенно равнодушно наблюдал по дороге в школу — занятия в ней, как и работа в зонах, начинались в восемь часов. И раздражался помехой — дорогу иногда нельзя было перейти минут по десять! Бывало, их проводили раньше и усаживали за проволокой в несколько рядов, лицом к улице. Моменты, когда приходилось идти мимо, я особенно не любил, подбирался, ожидая насмешливого окрика, жеста, грубого подшучивания. Но этого не было никогда.

Изоляция нашего мира от лагерного прорывалась в трех основных местах. Первое — расконвоированные. Их было на удивление много. И не только из женского лагеря. Вот довольно странный пример. Один из знакомых мне мальчишек был помещен на автомобилях (потом он стал водителем-испытателем и гошником на ВЛЗ). Машины в семье не было. Он подстергал расконвоированных шоферов, работавших на самосвалах, возивших песок, и сперва катался с ними в кабинах, а потом — в тринадцать лет! — стал выпрашивать у них покрутить баранку, а потом просто делать за них ездки, когда сваливать нужно было в глухом месте. А шофер-зак мог в это время посидеть на травке, хоть, наверно, рисковал. Фантастическая, как я теперь понимаю, свобода этого режима объяснялась, конечно, наличием большой зоны, которая охранялась почине лагерных, и бежать было некуда. Один коллективный побег на моей памяти все же был, последнего из беглецов валял в зарослях у озера недалеко от нашего дома.

Второе — освобожденные. Их в первые годы за большую зону не выпускали, оставляли в городе, благо рабочие руки везде были нужны отчаянно. Все это были сидевшие по уголовным статьям. Из них много женщин. Так, молодые, только что выпущенные женщины работали... пространщицами в мужской бане. Следствием были некоторые сценки, свидетелями которых брату и мне (одинадцать и тринадцать лет) быть не полагалось бы.

Известно было, что в лагерях много «пласовцев» и «репатрированных». Речь шла, конечно, просто о пленных, пересаженных из гитлеровских лагерей в сталинские. Никого из этой категории на свободе я не встречал. А типичным случаем был Гриша Р., совсем молодой парень, водивший с нами компанию тремя годами позже. Он учился в мореходке и при каботажном рейсе в Стамбул догадался купить на тамошней базарошке... пистолет. Результат — три года, из которых он при щедрой системе зачетов в Сороковке отсидел, кажется, всего год.

При обилии расконвоированных и освобожденных уголовников удивительной чертой Сороковки была близкая к нулевой преступность. В моей тамошней жизни отсутствовало такое понятие, как ключ от квартиры. Дом не запирался никогда ни изнутри, ни снаружи. Это социальное благо в значительной мере было до недавнего времени характерно и для сегодняшних закрытых городов и является главной причиной того, что их жители держатся за свои зоны — сейчас уже, увы, по инерции, туда пробрались даже заказные убийства.

О дальних лагерях, работавших на промышленную зону, долетали лишь изредка слухи. Там, конечно, было круче. Так, рассказывали о летчике с двадцатипятилетним сроком, который валялся «за свободу и ведро водки» выполнять отчаянную работу.

Достранивалась высотная труба для выброса газообразных отходов (знаменитые впоследствии в городе «лисий хвосты»), самая высокая в стране. Сорвавшись подвесная клетка заклинилась. Ее нужно было освободить, взобравшись по скобкам. Историю эту я слышал не раз и все с разными концовками («освободилась», «сорвался вместе с клеткой» и даже «выпил полведра и умер»), а правду узнал только недавно, из документальной публикации. В клетке были люди, несколько человек упали и разбились, а один повис на защемленной руке. В команде, поднявшейся на трубу, был хирург, ампутировавший руку и освободивший несчастного.

Третье — открывавшиеся по вечерам строгительные «зонки». Довольно информативны были вывешенные там плакаты и лозунги, но на память не беруть сейчас воспринявшие на одного, помимо только странное общее впечатление — это были обычные трескучие призывы, но обращенные к заключенным! Подetailнее были прикрепленные к доскам, отпечатанные черным и красным на хорошей бумаге подробные префектуры поощрений за перевыполнение норм и даже за рационализаторские предложения! От обычных БРИЗовских приманок они отличались графой, где указывались льготы по сроку, прямо пропорциональные экономическому эффекту «радухи». Снять и сохранить такую бумажку ничему не стояло, но ни мне, ни кому другому это и в голову не приходило. Почему?

Отвечать на этот вопрос тяжело, но необходимо. Он является частью более общего вопроса: как мы, а особенно наши родители, могли спокойно и весело радоваться обеспеченной жизни, интересной работе, красотам природы, живя буквально посреди огромного концлагеря? Почему ужасы ГУЛАГа практически не отбрасывали тени на нашу жизнь, хотя происходили порой в нескольких шагах? Почему столь внешне идиллическим был симбиоз цвета научно-технической интеллигенции страны с гвардией бериевского ведомства в работе над атомной проблемой? Я много над этим думал и свое мнение сейчас изложу.

Во-первых, контингент работников Сороковки отбирался по безупречным анкетным данным, а это в первую очередь означало отсутствие репрессированных близких родственников. Здесь работали только те, чья семья обошла кровавая косовка тридцать седьмого и последующих годов, для кого они не стали личной трагедией. «А что у нас было в тридцать седьмом году? Война в Испании?» — этот вопрос солженицынского персонажа из «Случая на станции Кречетовка», — не авторская фантазия.

Во-вторых, в самой Сороковке на репрессии действовало что-то вроде моратория. Во всяком случае арестов и посадок в кругу своих знакомых родители называть не могли. Один из старых работников комбината, живущий сейчас в Обнинске, рассказал мне об аресте своего соседа по общежитию. Провал он после громкого и запальчивого разговора, в котором не очень лестно отзывался о колхозниках по сравнению с фермерами, а также сказал, что скрипичная музыка Паганини нравится ему больше, чем песня Лемешова. О своем собственном «столкновении по касательной» с этой проблемой я расскажу позже. Идиллия, разумеется, была внешней. Угроза висела, пугать Берия умел. «Ты у меня, сукин сын, в тюрьме сидишь!» — слышали от него руководители любого ранга. А министр Б. Ванников любил спрашивать подчиненных: «Дети есть?» — «Есть.» — «Не сделаешь в срок — детей своих больше не увидишь.»

Но советская атомная программа шла успешно — ни серьезных срывов в сроках, ни провалов на испытаниях, и остроты дамского меча, который, несомненно, висел над головами Курчатова и его соратников, им испытать, к счастью, не довелось.

В-третьих, очевидная, не показная, огромная важность работы, ее захватывающий научный и технический интерес. Это была не мавринская шарашка, где изобретались средства подслушивания и слежки. Война кончилась недавно, все помнили, как она началась, и искренне считали своим долгом сделать все, чтобы следующий раз нас враглов не застали. Для многих на этой работе деления суток на день и ночь не существовало, силы отдавались без остатка. От первого колышка до пуска комбината прошло два года! Ностальгия по тому времени — общая, практически не знающая исключений черта ветеранов отрасли. «Ни тебе общественной работы, ни шефской помощи, ни техники безопасности, только вкалывай» — я слышал это от многих. О технике безопасности мы еще поговорим.

Как ясно из начала этих заметок, сам я, школьник-старшеклассник, был чистейшим, беспримесным продуктом эпохи. Я был искренне убежден, что живу в лучшей стране мира, и в лабиринте колючей проволоки дышал свободно! Поэтому сегодня я не буду пытаться окрашивать свое тогдашнее восприятие действительности и окружающих меня людей в тона, которых в этом восприятии не было.



Сурнач сообщил отцу, что его прислали на должность начальника ЦЗЛ (фактически он руководил разработкой контрольно-измерительных приборов). Его предшественник Ю. Н. Герулайтис уезжал – вынужденно. Причины назывались разные, но скорее всего дело было в родословной его жены. Либа Григорьевна была дочерью членов руководства Австрийской компартии (!), долго жила с родителями в Вене. Мама, видевшая их семейные фотографии, вспоминала, что отец Л. Г. внешне был вылитый Карл Маркс и явно культивировал это сходство. Сам факт привлечения Герулайтиса к работе в Сороковке, по-моему, достаточно красноречиво говорит о том, что Лаврентию Павловичу, отвечавшему перед Сталиным за результаты работы, приходилось-таки вследствие этого наступить на горло некоторым из своих песен.

Центральная заводская лаборатория была уже довольно крупным заведением и, как все структурные подразделения комбината, быстро росла и размножалась почкованием. В открытом городском телефонном справочнике все подразделения назывались только «хозяйствами» с именем руководителя. Из «хозяйства Работнова» вскоре после его вступления в должность выделались биологи (будущий филиал Института биофизики) и химики. Отец был физиком-экспериментатором, любил приборы, а ЦЗЛ тогда дрейфовала в направлении КИПа и автоматизации. Незадолго до этого разделения с биологами произошел один курьез. У них был большой виварий, велись опыты по облучению лабораторных животных, в том числе и, в павловских традициях, собак. Одного биолога командировали для их закупок аж в Москву (огромное количество мелочей по соображениям секретности делалось через Москву, в год окончанья школы это коснется меня лично). Биолог был, как, вспоминая, в сердцах называл его отец, «шибко ученый». Одним из следствий этой учености была следующая теория. Реакция собак на облучение должна была моделировать человеческую, и какая собака ближе к человеку? Разумеется, породистая. И чем породистее, тем ближе. Поэтому, когда он вернулся с собаками, все ахнули. Это была купленная за бешеные деньги злата охотничья порода. И качество это было достигнуто за счет количества, собак было гораздо меньше, чем нужно. И рука ня у кого не поднималась губить писаных красавцев благородных кровей там, где стодились бы любые здоровые дворняги. Вышли из положения так – привезенную небольшую псарню распродали местным охотникам (от желажущих отбоя не было), а на выручку закупили-таки дворняг. Двух собак – английского сеттера Вена и ирландского Баяна – купили наши будущие соседи, об охотничьих успехах которых речь впереди.

Первое наше жилище было тесным, но со всеми удобствами, и отцу обещали, что долго мы там не проживем. Через много лет, читая книгу Лауры Ферми «Атомы у нас дома», мама обратила внимание на то, что научные работники, которых американцы собирали в Лос-Аламос, поначалу жили очень стесненно, и место в «ванном ряду» досталось только корифеям, а в Сороковке ванны были в каждой квартире (правда, деревянные). На это я ей сказал, что, во-первых, мы приехали в Сороковку не в первых рядах, и те, кто домился сюда через тайгу на танках в сорок шестом году, вряд ли были избалованы сантехникой. А кроме того, Сороковка – не аналог Лос-Аламоса. Американская Сороковка – это Ханфорд, на берегу полноводной Колумбии в штате Вашингтон.

Всей семьей в одной комнате мы действительно не зажились. Приехали мы в Сороковку 15 июня, в день тридцатипятилетия матери, а она с отцом – он был старше на пять лет – принадлежали там к старшему поколению. Стариков в городе довольно долго просто не было, совсем не было, родителей-пенсионеров к детям не пускали. (С этим связываю ходячая легенда о том, что жители Сороковки мерли от радиации, как муха – посмотрите, мол, на кладбище сороковских – начала пятидесятых, там одни молодые, стариков совсем нет! О том, что молодые у нас умирали и умирают повсеместно до сих пор в количестве примерно два человека на тысячу в год, никто не отдает себе отчета. Особенно это касается интерпретации чернобыльских последствий.)

Осенью мы переехали в двухкомнатную квартиру, но в ее только-только успели обжить, как достроили коттеджи на Сосновой, и мы вселялись туда.

Сейчас, наверно, следует сказать о подходе атомного ведомства, тогда еще новорожденного, к жилищной и другим бытовым проблемам. Остаточным принципом, по-моему, там не руководствовались никогда, и это я считаю большой заслугой Курчатова, который, по воспоминаниям родителей, много пробивал сам. К нашему приезду там были не только кинотеатры, стадионы и спортзала, но и эллинг с яхтами на озере. А в эллинге не только швертботы, но и настоящие килевые яхты вплоть до «шхерного

крейсера» Л-4, и отнюдь не для прогулок начальства, а для большой их секции. Могут сказать — с жиру бесились, а страна голодала. Но дело в том, что все расходы на социальбыт, даже самые по нашим понятиям щедрые, были ничтожным довеском к фантастическим затратам на промышленное строительство, оборудование и на научные исследования. А эффективность этой основной работы — чего у нас многие и сейчас не могут понять — сильно зависит от бытовой устроенности работников. Курчагов это понимал.

В этом отношении интересно сравнить положение в нашем ведомстве и в космическом на разных этапах их развития. Из разговоров с работниками Минобщнаука я знаю, что они жили гораздо скромнее. И говорили, что дело в позиции Королева. Сам он и многие его коллеги по аэрокосмическому комплексу прошли через лагеря, Королев доходил, был на грани голодной смерти. Особенным аскетом он, как говорят, не был, но и лишнего баловства не любил. Из Курчатова же была жизнерадостность, даже моих внешних полудетских впечатлений надалека было достаточно, чтобы это понять. Приезжая в Сороковку летом, он брил мощную голову наголо, быстро загорал, сверкающие темные глаза и ассирийская борода при белом костюме усиливали впечатление энергичного жизнелюбия. И характером он был не чета тяжелому, властному Королеву. Но при всем том прожил не дольше его, работа звала свое.

Итак, мы переехали в коттедж. Первыми нашими соседями стали супруги Александровы, военные врачи, микробиологи. Николай Иванович возглавил ту самую выделенную из ЦЭЛ биологическую лабораторию и кушил огненно-рыжего Бена. В ученых и военных званиях супругов был некоторый перекокс: муж — полковник медицинской службы, кандидат наук, а жена, Нина Ефимовна, была уже доктор наук, но зато подполковник. С уважением и некоторым страхом мы с братом смотрели на соседей, узнав от родителей, что она — автор знаменитой пентавакцины Александровых, сложной прививки от пяти важнейших инфекций, которая была одним из главных медицинских средств нашей армии в войну. Но кололи ее и нам, детям, переносилась она тяжело, впечатление не забылось. За вакцину Александровы были лауреатами Сталинской премии. В Сороковку Нина Ефимовна приехала по возвращении из Ирана, где помогала бороться с какой-то страшной кишечной эпидемией, и много рассказывала маме о быте и нравах шахского двора.

Николай Иванович был страстным охотником. У него была масса оружия, а готовых, снаряженных охотничьих патронов он не признавал — имел сундучок с гильзами, порохом, дробью, капсюлями, какими-то весами и мерками, снаряжал сам. Под стать ему оказался поселившийся в одном из соседних домов начальник режима полковник Рылацев — хозяин «ирландца» Байна. Проблем с пропуском за зону у него, ясное дело, не было. На пару с Александровым они ездили в глухие закрытые места, на испуганных уток. В одну из первых же поездок они выжили за одну зарю около двухсот штук, еле довели на «Победу», оделили шофера и всех соседей на Сосновой, пир горой. Это был не последний успех. Но как-то после очередной трапезы отец догадался взять с собой на работу отрезанную головку и латис одной из уток и положить их под счетчик. С тех пор баловаться водоплавающей дичинкой мы прекратили, а соседям отец отсоветовал. Так же резко перестали мы лакомиться щуками и линями, которые в изобилии водились в озерах промплощадки, а мама их очень хорошо готовила. Вскоре всякая рыбная ловля была там запрещена, а на этой системе озер существовал целый рыболовецкий совхоз. Его закрыли, но, похоже, надо было сделать это гораздо раньше...

Зато чистую бортовую дичь мы ели постоянно. Помню потрясение, когда на пельменях у одного из соседей (а фарш канонических уральских пельменей обязательно с дичью) мне показали глухариную голову, которая по величине была впору новорожденному ребенку. Александровы недолго были нашими соседями. Николай Иванович получил новое назначение — по слухам, в начальники микробиологического института Министерства обороны, и она уехала. Вместо них въехал с семьей Михаил Антонович Демьянович, будущий директор комбината, а тогда начальник одного из «хозяйств».

Еще до нашего приезда в Сороковку в Москве была издана брошюра двух американских авторов «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?». Этот факт по тем временам был совершенно необычен. В книге открыто критиковалась наша техни-

ческая отсталость, превозносились достижения Мангеттского проекта, приводилась (в цифрах!) суммарная длина приборных шкал Ханфордского завода и делался вывод, что до атомной бомбы русским, как до звезды небесной. Брошюра была издана, по-моему, «Политгидатом», в оформлении, очень похожем на оформление речей на съездах и постановлениях ЦК. Я думаю, что уже факт публикации этой книжечки, бывший, конечно, чистым актом вассалства, все сказал американской разведке, если у нее были иллюзии на этот счет.

Вскоре последовало сообщение ТАСС о нашем первом испытании. Никаких открытых торжеств в Сорочковке по этому поводу не было — упаси Бог, никто ничего официально не знал. Но хорошо помню, как на каком-то мероприятии в городском клубе (а может, уже и открылся театр им. Горького) один из известных в городе актеров прочел «с выражением» опубликованное в «Правде» стихотворение Сергея Михалкова:

Мы недавно проводили
Испытание нашей силе.
Все на славу удалось,
Там, где нужно, взорвалось!

При слове «нашей» он сделал широкий приветственно-обвиняющий жест в зал, и тот взорвался овацией. Об исторической роли ядерного оружия мнения могут быть разные. Хоть я человек и не суеверный, но предпочел бы не обсуждать этого вопроса, пока эта роль не будет завершена (дожить до этого не надеюсь). Однако для всех участников его создания то время было звездным часом. Политику они не определяли, но историю делали. Я не считаю себя вправе ни единым словом бросить тень на их тогдашнее торжество, за которое некоторые заплатили дорого. И выскажу одно глубокое личное убеждение. Как известно, в истории любые «если бы» сомнительны. Тем не менее, решусь на сильное утверждение: мне самому и большинству людей моего поколения суждено было погибнуть в третьей мировой войне, если бы не ядерное оружие. И выполнило оно эту сдерживающую роль совершенно бескровно, не будучи после окончания второй мировой войны применено ни разу. Скажут — были погибшие и пострадавшие при его производстве и испытаниях. Были. Но их, вопреки широко распространенному заблуждению, гораздо меньше, чем в случае производства, испытаний и использования на учениях обычных вооружений. Просто несравненно, несопоставимо, в тысячи раз меньше.

Боюсь, что если эти заметки будут напечатаны, реакция в прессе под заголовками типа «Откровения адвоката атомной смерти» автору обеспечена, но все-таки скажу: атомная бомба была задумана и создана как оружие цивилизованных людей против крайнего, кровавого варварства. В этом процессе ведущую роль сыграли светлейшие умы Европы — Бор, Ферми, Вигнер, Силлард, бежавшие за океан от непосредственной угрозы физического уничтожения. Этим людям не надо было объяснять, что стояло на кону. Но этого не надо было объяснять и Курчатову, Харитону, Сахарову. Если Сталина и Мао Цзядуна ничто, кроме весьма реальной угрозы собственной шкуре, остановить не могло — а атомное оружие было именно такой угрозой и их остановило, — то при наличии подавляющего превосходства, а тем более полной монополии на оружие массового уничтожения очень велик был бы соблазн воспользоваться этой монополией и у западных политиков и военных. Их отношение к «империи зла» мы сегодня можем понять. Но нам от этого было бы не легче. Так что беспрецедентный в истории человечества полувековой, пусть худой, мир между великими державами — реальность, за которую я, несостоявшийся солдат или гражданская жертва третьей мировой, создателям ядерного оружия искренне благодарен. Всем создателям, и американским, и нашим, поскольку важен был именно баланс. Перефразируем известное высказывание У. Черчилля: «Атомное оружие — плохой способ поддержания мира между великими державами, но лучшего пока не придумано».

Что касается первой бомбы, то отец приехал, конечно, к шапочному разбору. Сталинской премия, огромной по размерам и необычной по сопроводительным льготам (например, бесплатный проезд по всем железным дорогам, его, правда, быстро отменили) ему не полагалось. Но в одной, как теперь сказали бы, тринадцатой зарплате за этот год ему хватило — и еще осталось — для осуществления жгучей мечты. Он купил автомобиль — «Москвич-401».

Я человек двадцатого века. В моем отношении, скажем, к настольной лампе про-

скальмывает что-то от пушкинского (или ахмадулинского) чувства к свечам, а автомобиль для меня — немножко лошадь. В гораздо большей степени это было характерно для моего отца. Он бредил техникой, главным олицетворением которой был для него автомобиль. Гараж и машина занимали львиную долю его досуга, в этой механике он был общепризнанным асом. Свою последнюю машинку, старую «Волгу», он, уже умирая от рака и лежа в палате с открытым окном, всегда узнавал по движку, когда я подъезжал к больнице. Выписанный «с улучшением» за сутки до смерти (самочувствие действительно несколько улучшилось, но химиотерапия подорвала сердце) он сказал мне: «Неужели я еще поправлюсь так, что когда-нибудь сяду за руль, вонду далеко?»

Сейчас трудно в это поверить, но личный автомобиль прививался в Сороковке с большим трудом. Запомнился такой случай. Сказав, что в Сороковке не было стариков, я допустил неточность. Один настоящий старик все же был. Он служил швейцаром в городском университете, сидел на стуле у входа в форме с галунами. На груди его, полузакрытая роскошной серебряной бородой, сверкала коллекция царских крестов и медалей, среди которых была не только за империалистическую, но и за русско-японскую войны. Однажды я увидел, как он прикрепляет на дверь маленькое объявление: «В университете имеются в продаже автомобили ЗИМ по цене 40000 рублей». ЗИМов пришло две штуки. Объявление провисело месяца два, но никто их так и не купил, хоть в Сороковке не так уж мало было людей, которым вполне хватало бы для этого квартальной зарплаты.

А на «Москвиче», пройдя курс под руководством своего шофера и получив права, отец отправился в первый самостоятельный рейс по Сосновой. Не проехав и двухсот метров, на углу Школьной он попал в небольшой занос (дело было зимой), и мы оказались в сугробе. Прохожих, как назло, не было, а моих силенок не хватало. Слева по Школьной стояли такие же, как у нас, коттеджи, а справа, за высокими оградями, три двухэтажных двухквартирных особняка, в угловом из которых жил Музруков. Из особняка подальше вышли двое мужчин и, проходя мимо, подошли к нам. Один был постарше, довольно простецкого вида, в полушубке и шапке, зато другой, молодой, вполне импозантен — в синем драповом пальто и велюровой шляпе, что по уральской зиме было нарядом неслыханным.

— Ну что, Семен Николаевич, засел? — сказал старший.

— Да вот, Анатолий Петрович... — отец был смущен.

— Федя (за имя не ручаюсь), помоги, — сказал Анатолий Петрович, которому после смерти Курчатова предстояло возглавить отечественную ядерную программу, а после смерти Келдыша — в Академию наук. Элегантный Федя взял «Москвича» за задний бампер и переставил ведущими колесами на твердое место. Александров сделал ручкой, и они поехали дальше по Школьной, видимо, в недалеком заводоуправлении.

Ниже по Школьной, почти у самого озера, стоял и четвертый бледно-бирзовый особняк, уже за сплошной каменной оградой. Архитектура его была совершенно необычной, что-то вроде швейцарского шале — полубашенки, вверху круглое окно, черепичная крыша. Его построили на случай приезда Берия. Жен жившего по соседству начальства, включая маму, позвала для консультаций при оформлении интерьеров. Мебель, как она вспоминает, была обычной каменной, тяжеловесной, хоть и очень добротной, зато хрусталь и ковры такие, каких она не видела ни до, ни после. Но все это не пригодилось. Берия действительно приехал, но в особняк не поселился, а устроился вот как.

Одним из главных мальчишеских развлечений у нас были велосипедные прогулки, все дороги и лесные тропинки — наши. Особенное удовольствие доставляла езда по лежневкам. Хорошая лежневка — все равно что деревянный трек, велосипед сам катится. Строились они в случае надобности с невероятной скоростью, по узким просекам, одноколейные с частыми разъездами, в точности как на железной дороге. По одной такой лежневке — это было уже много позже пятидесятого года — мы заехали в странное место. Лежневка упиралась в площадку у железнодорожной ветки, явно заброшенной. К площадке было подведено электричество, ее окружали фонарные столбы — все в глухом лесу. Это был «Разъезд А», где вставал вагон Лаврентия Павловича. В нем он и жил. Это создавало массу проблем, и для гостеприимных хозяев было источником, мягко говоря, головной боли. Так, в передаче я слышал рассказ человека, которому пришлось обеспечивать «Разъезд А» питьевой водой: что Берия останется в вагоне, не знали до самого его приезда.

Вода нужна была чистая, а что чище реакторного двойного конденсата — дву-

кратко дистиллированной воды? Ее и решили отправить на разъем, разлив по лабораторным двадцатилитровым бутылкам. Охрана встретила водовоза на дальних подступах и приняла, естественно, за диверсанта, подосланного с отравой. Он уже не чаял живым остаться, но после многочисленных звонков и изощренной матерщины сошелся на том, что он выпьет по полной кружке из каждой бутылки. Бутылей было штук двадцать. Он забастовал на шестой или седьмой, понимая, что допиваться до рвоты опасно. Остальные немедленно разбила...

Я видел Берия в Сороковке единственный раз, на том самом углу Сосновой и Школьной. Переходя улицу, я встретил необычную процессию. По левому тротуару медленно шли Берия и Музруков, отстав от них на несколько метров — большая толпа комбинатского начальства, а еще чуть отстав, по мостовой — директорский ЗИС-110 и за ним, вытянувшись вдоль всех просматриваемых кварталов — вереница легковушек. Как потом рассказывала мама — она наблюдала эту сцену из чужого двора чуть ближе, — министр решил посмотреть, как живут у Музрукова научные работники, и не ограничился проездом на машине, а вылез и прогулялся. Разумеется, тут же вышла из машины и все остальные. Странно, что совершенно не помню вокруг никакой пешей охраны.

Очень многое в истории нашей атомной промышленности определяется тем, что первые несколько лет — вплоть до своего ареста и расстрела — ею руководил Берия. Сейчас, когда экологическая обстановка на площадке комбината «Маяк» стала объектом пристального внимания общественности, иногда слышатся голоса: «Да кто вообще все это допустил?! Почему молчали?!» Всем, кто сегодня из безопасного временного и пространственного далека обличает атомное ведомство как «убийцу, живущего за счет своих жертв» (формулировка одной очень нравоуважаемой газеты, которую я вычитал, правда, в ее английском издании — «killer compensated by his victims»), следовало бы сперва попробовать поглубже разобраться в вопросе. Сегодня ничего невозможного в этом нет. Так что поговорим об уральской раднаши.

* * *

Где-то в пятидесятом году почувствовала себя плохо тетя Нуся, проработав на радиохимическом заводе всего года два или около того. Сейчас ясно, что за счет хронического облучения она получила дозу, которая «одним куском» могла быть смертельной. К тому времени в городской больнице уже открылось специальное отделение («вторая терапия»), Аня Николаевна стала одним из его пациентов, а потом и большинство ее подруг по работе. Эти одиозные женщины, проработавшие всю войну на химических производствах в условиях, когда уголовно наказуемым преступлением считалось двадцатиминутное опоздание на работу, были идеальными операторами (тогда говорили «аппаратчиками»), очень дисциплинированными, ответственными и аккуратными работниками. Но на химических производствах они привыкли к тому, что опасность имеет отчетливые признаки — огонь, дым, запах. Здесь их не было — и не было еще всепроникающего дозиметрического контроля. А там, где он был, бояться цифр научились не сразу. Как-то невидящие отложения, выпадения в осадок, случайные повышения концентрации за толстыми стенками емкостей и трубопроводов ничем о себе не заявляли, но были иногда крепко.

Неведение было присуще не одним только рядовым работникам. И среди руководителей было не так много физиков, представлявших себе суть дела и характер опасностей. В большом числе требовались специалисты по водоочистке и водоподготовке, по промышленным стокам. В Сороковку приехало чуть не в полном составе руководство Ленинградского треста «Водоканал». Это были очень опытные и квалифицированные люди. Наш сосед, Алексей Максимович Малорадов, например, провел всю блокаду в Ленинграде, обеспечивал водоснабжение осажденного города. Продукция комбината считалась кубическими сантиметрами конечного продукта в сутки, очень невелики были, по обычным промышленным стандартам, и физические объемы отходов. Оценить их опасность новичкам было трудно.

Тетя Нуся болела несколько месяцев, лежала на обменных переливаниях крови, но поправилась — как и подружка, соседка по «девичьей коммуналке». Всех их «вывели», т.е. дали бумажную работу в управлении, которое еще долго комплектовалось в значительной мере за счет этого источника.

Раднационные поражения первых лет в Сороковке были следствием многих факторов. Во-первых, очень и очень многого еще не знали, а во-вторых, опасность радна-

ции недооценивали. Первая в мире норма допустимого облучения, установленная Международным комитетом по радиационной защите, была шестьдесят рентген в год(!). Многократным снижением она была доведена до пяти рентген в год, и только что произошло очередное снижение — до двух. В Сороковке в первое пятилетие норма была — тридцать. Если бы хоть она соблюдалась...

Не будет преувеличением сказать, что, по современным меркам, первые годы работы Сороковки были непрерывной радиационной аварией. Но дело в том, что в отношении охраны жизни и здоровья работников там фактически действовала если не норма, то обычая ГУЛАГа военного времени. Чего еще было ждать от Берни? Если сказать сегодняшнему сотруднику Госатомнадзора из тех, кто помоложе, что восемнадцатилетнюю девочку можно посадить руками в перчаточном боксе препарировать блонки отработавшего реакторного топлива с короткой выдержкой (девчонка, будущая жена моего друга, навострилась делать эту операцию за пятнадцать секунд при норме сорок — поэтому делала ее чаще других); что работнику, замешкавшемуся в «каньоне» и вылезшему оттуда с десятком-другим рентген можно сказать: «Три отсюда!» — и считать инцидент исчерпанным; что «колла» из реакторного цеха сменным персоналом, выскочив на крышку работающего аппарата, может выбивать шестиметровой подводной трубой, — он хлопнется в обморок. Но это было — и многое другое.

Трудно отметить что-нибудь положительное в нашей еще недавно всеохватывавшей секретности, кроме одного парадоксального факта: секретная научная литература была неподцензурна. Редакционные комиссии в отличие от цензоров и редакторов открытых изданий не могли влиять на содержание работы — только на уровень грифа. По радиационной медицине у нас выходило много закрытых — так и хочется сказать «публикаций» — и отчетов, и периодики, и монографий. Главное из того, что связано с «Маяком», сейчас рассекречено, и многое надается. Этими материалами можно пользоваться. Они написаны, что называется, «без балды».

Среднегодовая доза персонала радиохимического производства за период 1949 — 1953 годов превысила семьдесят рентген. В том, что эти данные соответствуют регистрационным документам, я не сомневаюсь. Но, во-первых, это в среднем, значит, некоторые получали и вдвое, и втрое. Во-вторых, сообщать о неизбежных случаях крупного нарушения норм никому не хотелось, слова «авария» и «вредительство» ходили рядом. Поэтому, пускаясь на рискованные операции, работники предпочитали оставлять индивидуальные дозиметры в более спокойном месте, если была такая возможность. Попасть в «сигнальщики» — так называли официально перебравших дозу — не хотелось никому.

Диагноз «хроническая лучевая болезнь» был поставлен более чем тысяче человек с суммарными дозами от 200 до 600 рентген, набранными за два — четыре года. Тяжелая форма (третья степень) зарегистрирована у сорока человек, четверо из них быстро умерли. Еще семеро скончались в пятидесятые годы от острых лейкозов. Они были из числа работавших в самых опасных местах и получили суммарные дозы 600 — 1000 рентген. За 38 лет, отсчитанных от сорок восьмого года, полная летальность — 177 человек, из них от злокачественных опухолей — 40 человек (около двадцати трех процентов). Эти два последних показателя уже практически не выпадают из среднестатистических для всего населения в развитых странах. На 1990 год 115 человек из этой тысячи профбольных были старше семидесяти, самому старшему — восемьдесят семь лет (данные В.Н. Дошенко).

После устранения Берни и с накоплением знаний радиационная обстановка на комбинате очень быстро начала улучшаться. За последние двадцать лет не только не зарегистрировано случаев лучевой болезни, но и вообще серьезных нарушений сегодняшних достаточно строгих норм.

Внимание общественности привлекают обычно не хронические профзаболевания — хотя зачастую большой урон наносят именно они, — а аварии, несчастные случаи. Детальной обобщающей публикации на эту тему по «Маяку» я не видел, поэтому расскажу об известных мне происшествиях. Они, думаю, наиболее серьезные.

Самым тяжелым был случай, в котором под лучевой удар попали четверо. Они по ошибке слили раствор из двух сосудов в один. Возникла «тихая» критмасса. Двое погибли, получив дозы в тысячи рентген.

Мама недолго была домохозяйкой, поступила работать в клиническую лабораторию городской больницы, и анализы «второй терапии» проходил через ее руки. Она долго не могла забыть тех двух молодых инженеров (пишет только, что фамилии обоих начинались на Б.). Когда на вторые сутки после катастрофы она глянула в

микроскоп на мазок крови одного из них, то отпрыска — в поле зрения был единственный лейкоцит...

Случилась однажды и трагедия особого рода. Я, признаться, считал ее легендой, пока много позже, на поминках отца, его старый приятель профессор-радиофизик Глеб Аркадьевич Серeda не подтвердил ее достоверность — оказалось, он был председателем комиссии по расследованию этого несчастного случая. (Тогда же он рассказал, что у него, еще инженера, работал в подчинении заключенный Каллистов — впоследствии многолетний председатель ЦК профсоюза Минсредмаша.)

Одному молодому рабочему на свалке пригласились нержавеющие трубочки б/у, выломанные из какой-то установки. Он прикинул, что из них получится недурная кроватка для его новорожденного сына. Как она попала на свалку вместо могильника, выяснить, кажется, не удалось. Но факт остается фактом — кроватку он сварил. Сынишка стал хворать, хиреть и умер. Кроватку разобрали и сложили за диван. Зиболела с теми же признаками и жена, болеянь склонны были считать наследственной. Но грянула авария пятьдесят седьмого года. Улицы и дома стали протесывать дозиметристы в поисках радионесеной активности. Дом, где жила эта семья, «светился насквозь» — как вспоминает Г.А. Серeda, сперва даже ошиблись этажом, стали ломиться не в ту квартиру. Жена позже тоже умерла. Она была домохозяйка, почти все время проводила дома.

На этом фоне почти комическим выглядит происшествие, в ликвидации последствий которого пришлось принимать участие и отцу. Еще до войны одна из европейских монархинь (кажется, голландская королева) подарила Ленинградскому Радиовому институту полграмма радия. По тем временам это был истинно королевский подарок. После войны его привезли в Сороковку и использовали в экспериментах. Полграмма радия — сильный источник гамма-излучения, на расстоянии одного метра он создает мощность дозы полрентгена в час — в пятьдесят тысяч раз выше естественного фона. Хотите верить, хотите нет, в один прекрасный день его выкинули с мусором. Подразделению отца было поручено найти его на городской свалке. Нашли, конечно, мгновенно. Отец получал премию — три тысячи рублей. Заметим — опять свалка. Трагедии с выброшенными по ошибке гамма-источниками для промышленной радиографии и лучевой терапии до сих пор остаются в мире самыми тяжелыми радиационными происшествиями за исключением Чернобыля. При этом тяжелейшие из них произошли в неядерных странах — Марокко, Бразилии.

В пятьдесят третьем году тяжело пострадал в аварии приятель отца Александр Александрович Каратыгин, и с ним еще двое, полегче. Происшествие было связано и с запредельной секретностью, и с дикой штурмовщиной, царившей в те времена. Объем продукции, т.е. массу произведенного за день плутония, из персонала не знал никто. Как не имел никто понятия и о том, что критмасса водного раствора соли плутония всего около пятисот граммов. Но необходимость еженощно докладывать вождю о выполнении плана при неконтролируемых колебаниях производительности привела к естественному в отечественных традициях решению — создать небольшую плутониевую записку. Каратыгин слил дневную порцию раствора в емкость, которую считал пустой. А там была записка...

Борьба за жизнь Александра Александровича была долгой и драматичной. Местные врачи быстро поставили вопрос об ампутации одной ноги. Из Москвы прилетел для консультации крупнейший специалист по ожогам — увы, не радиационным — и только что не поднял местных медиков насмех: «Вы не видели танковых ожогов!» Ампутацию отменили, больного в личном салоне-вагоне Муарухова отвезли в Москву. Но в конце концов от обож ног у него не осталось ни сантиметра, сильно пострадала кожа на руках и глаза. Но он оправдался и в этом состоянии прожил еще тридцать пять лет — до семидесяти пяти!

Не все знают, что лучевая болезнь — прежде всего химическое отравление клеток продуктами радиолиза разных молекул, в первую очередь воды. Если доза не слишком близка к смертельной, ОЛБ и протекает как отравление, лечится и излечивается, как отравление. Моя тета Нуся, поправившись, прожила еще тоже тридцать пять лет и скончалась от сердечного приступа. А ее младшая сестра Грания, оставшаяся в Ярославле на СК-1, погибла от рака кишечника, едва дожив до пятидесяти. От рака умер и отец, хотя его условия работы по сравнению с Нусянками были нормальными. Он даже не выработал льготной пенсии.

А случай с Каратыгиным был особый. Он получил огромную дозу, и лечение стало медицинским чудом. По словам мамы, по результатам его многолетнего лечения

было защищено минимум пять кандидатских диссертаций — отдельно по коже, по кровотоковой системе, по желудочно-кишечному тракту и т.д. Но мне кажется, что в его выздоровлении большую роль сыграли воля, характер и мужество самого больного.

В последующие годы, уже в Обнинске, я хорошо знал Александра Александровича. Это был удивительно жизнелюбивый, веселый и энергичный человек. Он водил машину, выучил языки, много переводил и реферировал для нашего ОНТИ на дому. В шестидесятые годы была одна журналистская попытка рассказать о его судьбе, но в условиях того времени сделать это было трудно.

А теперь о пятидесят седьмом годе. К опубликованному на эту тему добавлю только вот что. Многократно приходилось встречать в печати при упоминании об этой аварии формулировку «Страшная катастрофа на Урале». Мы теперь знаем, что такое страшная катастрофа. Армянское землетрясение — под тридцать тысяч погибших, нефтегорское — около двух тысяч. Башкирский взрыв — несколько сот человек сгорели ажиком, среди них половина детей. Прикиньте ли использовать то же словосочетание применительно к аварии в Сороковке, в которой не погиб ни один человек? Скажут: «Врать! Чановники скрывают!» Я связался с человеком, лучше которого истину вряд ли кто знает — доктором Игорем Ильичом Платовым (я сожалею, скончавшимся в июне 1999 года), который в пятидесятые годы был патологоанатомом и судебноэкспертом в Сороковке. На мой вопрос он, подумав, ответил, что лишь одну смерть, и то достаточно косвенно, можно связать с кыштымской аварией. Территорию вокруг рванувшей «банки» с жуткими уровнями загрязнения на промплощадке выгородили и поставили охрану. В этой «зоне» остался и располагавшийся неподалеку от «эпицентра» ларек. Однажды ночью часовой, охранявший зону, решил познакомиться с ассортиментом этого ларька.

Он соблазнился несколькими блоками папиросных пачек. В процессе этой операции он «надышался» и надышался так, что его, скорее всего, ждала бы нелегкая смерть. Но судьба судила иначе. На посту курево спрятать было негде, он решил сделать это в находившейся неподалеку действующей трансформаторной будке, открыл ее, стал искать в темноте подходящее место и был наповал убит ударом тока. Тело привезли к Платову вместе с папиросами.

Заключительный штрих: уже когда стало ясно, что последствия пребывания в морге этого трупа, его одежды, обуви и папирос предстоит ликвидировать и ликвидировать, один из санитаров, с возделенным взглядом на пропадавший понапрасну «Беломор», спросил: «Игорь Ильич, а их курить можно?..»

Говорится это все не для того, чтобы замазать проблему. Радиоактивными отходами и военного, и гражданского происхождения пора заниматься серьезно. Словосочетание «ядерная помойка» очень эффективно переключает сознание с корки на подкорку, и у нас вдруг забыли, что настоящие помойки — одни из важнейших промышленных объектов во всех цивилизованных странах. Помой следует хранить именно на помойке, а не дома! — но как раз это мы вынуждены делать сейчас с ядерными отходами. Имея несколько миллионов квадратных километров прикладной и зародарной ненаселенки с идеальными геологическими условиями, мы держим тысячи чернобильских порций долгоживущей радиоактивности во временных пристанционных хранилищах на курском и воронежском чернолеме, вокруг Москвы и Петербурга. Подходы к решению отрезаны отнюдь не техническими трудностями, а теряющей последние точки соприкосновения с действительностью антиядерной пропагандой. Закон радиоактивного распада — один из самых простых и точных в физике. Его не обойти, ни объехать. Чем дальше мы тянем, тем сильнее придется напрягаться потом.

В середине пятидесят второго года в Сороковку приехал еще один член нашей семьи — мамина младшая сестра Лидя. Она окончила в сороковом году Ленинградский медицинский институт хирургом и в первый же день войны была отправлена на фронт из глухой деревушки под Череповцом, где заведовала сельской больницей. Большие годы она жила в Сороковке у нас, пока ей с недавно родившимся сыном не дали квартиру. Однажды глухой ночью летом пятидесят третьего года к нашему дому на Сосновой подъехала легковая машина, постучали, вызвали Лидию Федоровну и сказали, что

нужно срочно выезжать на несчастный случай, собирают всех хирургов города. Мгновенно собравшись, тетя уехала. Она не вернулась ни утром, ни днем, ни вечером, ни следующим утром. Родители не знали, что и думать, тем более что ни о каком несчастном случае на производстве никто не слышал. Потом Лида позвонила и сказала, что задерживается еще примерно на сутку, и действительно на третий день вернулась, чуть живая от усталости.

Вывозили ее в один из крупных окрестных лагерей, где произошло жестокое побоище между заключенными с десятками убитых и сотнями раненых — на национальной почве. Лида сказала, что ничего подобного она не видела со времен войны — сплошь тяжелейшие проникающие ранения и проломленные черепа. В ее рассказе маме об одной из операций мелькнуло «травматический пневмоторакс», я спросил, что это такое, она коротко ответила: «Проткнули грудь лезвием.»

Когда я сегодня по телевизору вижу хирургический конвейер федоровской глазной клиники, то вспоминаю тетин рассказ, она тоже употребила слово «конвейер». Привезенного медперсонала не хватало, были собраны фельдшера из заключенных, которые мыли, брили, кололи, подносили и уносили раненых. По слухам, остановил побоище упоминавшийся выше полковник К., вошедший в одиночку и без оружия в обезумевшую зону.

А, пожалуй, первым звонком, поселившим во мне смутные сомнения относительно безупречности моей человеческой среды обитания, было следующее событие в зриму с пятьдесят второго на пятьдесят третий год. Началось вполне реальным звонком — телефонным, довольно поздним. Подошел отец, и хотя спрашивали Николая Семеновича, он автоматически сказал: «Это я», — меня-то до тех пор никто в жизни не называл по имени-отчеству. Но звали именно меня. Вежливый мужской голос сказал, что мне необходимо прийти к двенадцати трем часам, т.е. примерно через час, в горотдел МГБ на проспекте Сталина, мне будет выписан пропуск.

Родители были в не слишком тихой панике. «Что ты натворил?!» — повторял отец. Никаких грехов, способных привлечь внимание чекистов, я за собой не знал. Разве что стрельба по воронам из гладкоствольного и нарезного оружия, которое отнюдь не все было оформлено охотничьиными билетами родителей? Не так давно Сурмач, уезжая в отпуск, привез и оставил отцу небольшой тяжелый мешок. Отец спрятал его в шкаф, думая, что мы с Динкой этой процедуры не видели. Родители за дверь, мы в шкаф. В мешке оказались три пистолета, к каждому по несколько коробок патронов: ТТ, «Вальтер» и огромный, тяжелый пистолетик, как я узнал позже — знаменитый американский армейский кольт калибра 0,45. Мы, конечно, прилипли к игрушечке «Вальтеру», в ближайший выходной утащили его в лес и настрелялись исцель. Трудно предположить, что Н. Е. по возвращении этого не обнаружил, но вида, во всяком случае, не подал. В стрельбе, естественно, участвовали приятели. Может, это?

До здания МГБ было минут десять. Меня направили в одну из комнат. Сидевший за столом майор записал анкетные данные в тетрадь, в протокол допроса, потом долго на меня смотрел и спросил: «Где вы были и чем занимались вечером ...?» и назвал дату примерно двухмесячной давности. Я стал догадываться, в чем дело, но виду не подал, а сказал только, что, разумеется, не помню. Майор стал напирать: «Как это не помните?» Я довольно невежливо спросил: «А вы помните, чем занимались утром ...?» — и назвал случайную дату трехмесячной давности. Майору это не понравилось, но он все же решил не тянуть когти за хвост.

— Вы проходили по Сосновой и увидели пожар в доме Музрукова. Расскажите, как было дело.

Я действительно в тот вечер, идя от приятеля домой, увидел у музруковской виллы народ, пожарные машины и встретил своего одноклассника и соседа Боря Г., который возбужденно рассказал мне, что полчаса назад, проходя этот перекресток, заметил на чердаке дома пламя и дым. Очень незадолго до этого с дома сняли пост охраны, раньше она была круглосуточная, у ворот стояла проходная. На заборе было устройство пожарной сигнализации. Боря разбил стекло, нажал кнопку, побежал в дом и всполюшил хозяев. Пожарные примчались тут же, пожар — видимо, от проводки на чердаке — был залит очень быстро, ни дом, ни имущество Музруковых не пострадала. И вот теперь Боре шло дело — поджог жильца директора оборонного объекта!

Сколь глубоким было мое «незнание своей страны обычаях и лиц, встречаемое только у деица», показывает следующее обстоятельство: с начала до конца этой истории — кончилась она вполне благополучно — я видел в происходящем почти исключительно юмористическую сторону. Вопросы майора меня главным образом сместили,

например, такой: «Вы считаете Г. настоящим советским человеком?» — «Да, считаю. — «А вы знаете, что в прошлом году он нарезал крышку парты? Может так поступить настоящий советский человек?»

Поскольку и крышку, и сиденье, и спинку собственной парты случалось резать и мне, я засмеялся. Только много-много позже пришла в голову простая мысль: кто-то же сказал лишнему чувству юмора майору про эту крышку...

Подписав недлинный протокол на каждой странице (очень сейчас жалею, что сделал это, не читая), я был отпущен. Вызывали потом еще раз, к тому же майору, но напора я уже не почувствовал. Дело прикрыли. Сработал ли упоминавшийся уже мораторий или хлопоты Борниного отца, не знаю. Но со временем, чем чаще вспоминал я эту историю, тем меньше она мне нравилась, а спустя несколько лет стала представляться уже совсем в другом свете. И очень мне не понравился майор. Я впервые столкнулся в человеке со столь неприкрытым стремлением в важном вопросе не высветить истину, а «подогнать под ответ» — да простится мне эта не юридическая, а математическая формулировка.

Приближалось время окончания школы. Никаких сомнений и тягостных раздумий по поводу будущего у меня не было. Учился я хорошо, «шел на медаль» (их только что ввели) и собирался поступать в ММИ — Московский механический институт. Это был базовый вуз отрасли. В Сороковке и на нескольких других «точках» были его вечерние отделения. Со временем его переименовали в Московский инженерно-физический институт, от некоторых вечерних отделений отпочковались дневные, и в Обнинске такое отделение стало Обнинским институтом атомной энергии. Но это все было впереди, а пока надо было получать аттестат и ехать в Москву. Возникшая загвоздка была совершенно неожиданной. Я получил-таки медаль, хоть и не ожидаемую золотую, а серебряную. В эпитафии сочинения на тему «Образ Ленина в поэзии Маяковского», которое было признано блестящим, я допустил ошибку. Какое был эпитафия, догадаться нетрудно: «Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить!» Я указал и источник, хоть особой необходимости в этом не было: В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин». А строчка-то из поэмы «Комсомольская»! Проницательному учителю это подсказало бы печальную истину: я не читал ни той, ни другой поэмы. Как не читал в школе, замечу, ни «Войны и мира», ни «Что делать?» — да почти ничего по программе, кроме «Мертвых душ» и «Евгения Онегина», которого, правда, знал целиком наизусть. Но по любой «программной» книге, не задумываясь, написал бы «медальное» сочинение. Нас уехали учить, а я был способным учеником.

За сочинение поставили четверку и вместе с письменной работой по математике... отправили его в Москву, в Министерство просвещения — подозреваю, что фельдшварью. Работы кандидатов на медали должно рассматривать и оценивать облоно, но для Челябинского облоно нашей школы не существовало, хоть она и назывались «Школа № 23 г. Челябинска». А в Минпросе был, наверно, на этот случай особый отдел.

Неделя прошла, другая, третья, о наших аттестатах — переживал я вместе со своим другом Димой Н. — не было ни слуху, ни духу. Оставалось несколько дней до приемных экзаменов, когда бумаги пришли. Медали наши утвердили и прислали их вместе... с незаполненными бланками аттестатов с серебряной надпечаткой. Директор, завуч, все учителя были в отпуске, многие в отъезде. Подписывать аттестат было некому. Кого-то разыскали по домам, но в конце концов в горново приняли соломоново решение — в большинстве граф подлиси мы, помолясь, подделали, приложили печать и полетели в Москву. Перед отъездом с меня первый раз взяли подписку о неразглашении, которую я сейчас нарушаю.

В ММИ нас ждал скандал — прием заявлений от медалистов был закончен! Уже заканчивались и «собеседования» с ними — по существу мини-экзамены по физике и математике. Предложили поступать на общих основаниях, а к экзаменам мы не готовились ни единого часа — медалисты мы или как? Спас положение отчим Димы Н., оказавшийся в командировке в Москве. Он пробился к директору, и нас допустили к последним собеседованиям, поверив, что опоздали мы не по своей вине. Мне дали решить несколько детских примеров, спросили, как относится поверхность шара к поверхности полушара (велико искушение ответить — как два к одному, а на самом деле — как четыре к трем), я стал студентом и тут же вернулся домой.

Главное в стране событие этого лета для Сороковки имело совершенно особое значение, но все основные перемены совершились подспудно и уже после моего отъезда на учебу. Мне запомнился только сам день объявления по радио об аресте Берии. Я тут же пошел к приятелю, жившему на проспекте Берии. Идти было минут десять.

но табличка на их доме была уже сбита, а на соседнем сбили при мне. В квартире приятеля — его отец был офицером МГБ — стоял небольшой кавардак. Мать вытравивала из разных мест экземпляры журнала «Пограничник», которые я любил у них читать. На задней обложке из номера в номер печатался текст «Гимна чекистов» с рефреном «Вперед за Сталиным ведет нас Берия», и теперь предстояло решить — отрывать обложки или выкинуть журналы целиком. Думаю, что выкинули целиком — журнал стал явно «засоренным». (Этот термин я услышал несколько позднее, записавшись в Москве сразу же в Ленинскую библиотеку. Очень многие заказы на не самые новые журналы не принимались по этой причине.) В другом доме я увидел на столе мартовский номер «Огонька» с отчетом о похоровах Сталина. Лицо Берии на всех снимках было исчеркано, глаза выколоты. Реакция на кадровые перемены в верхах тогда была орвелловски безынтересной...

Мои ближайшие друзья тоже поступили в московские вузы. Пятьдесят третий год фактически принес мне расставание с Сороковкой. До пятидесят шестого года включительно я еще приезжал туда на каникулы, но уже начинал чувствовать себя отрезанным ломтем. Может быть, в связи с этим охота к перемене мест овладела и родителями. Комбинат был на крутом подъеме, но на мощном стволе отрасли появилась и веточка, к которой отец, в отличие от многих уральских коллег, с самого начала относился серьезно. В конце пятидесят шестого года семья переехала в Обнинск, где уже два года действовала первая АЭС. Корни, пушенные здесь, оказались прочнее. Сюда переехали к нам и родители мамы, так что мой внук — представитель уже пятого поколения нашей семьи в пятидесятилетнем Обнинске. Надеюсь, что ему не захочется отсюда уезжать.

В заключение не мешало бы поговорить о Сороковке сегодняшней. Но нынешние ее проблемы — отражение общих трудностей страны и специфических трудностей отрасли. По последнему вопросу и считаю своим долгом высказаться.

Когда я вернулся в Сороковку осенью восемьдесят девятого, то увидел утром, что весь город в траурных флагах. Хоронили детишек, младшеклассников. Их возили в областной центр в цирк по первому гололеду. На обратном пути «Икарус» в лоб столкнулся с лесовозом... За все сорок лет ни один из радиационных катаклизмов, о которых читатель получил представление из вышесказанного, не привел ни к чему, и близко похожему на этот ужас. Об опасностях радиации написаны тысячи статей — а много ли их написано об опасностях езды зимой на летней резине (тысячи жертв ежегодно)?

В текущем году в результате несчастных случаев на производстве, и особенно в быту, в Российской Федерации не менее ста тысяч человек погибнет и около миллиона будет травмировано. наших соотечественников будут убивать и калечить транспортные средства и взрывы, огонь и вода, тяжелые, быстро движущиеся и острые предметы, отравляющие и едкие вещества. Но одно можно сказать почти наверняка: в этом миллионном списке жертв и пострадавших не будет ни одного человека, убитого или искалеченного ядерной радиацией. Обращает ли на это внимание хоть кто-нибудь?

Радиацией убить человека наповал почти невозможно. Как ни странно, самые яркие подтверждения этому дала... Чернобыльская авария. Никто до сих пор не обратил внимания на то, что в Чернобыле от неоперативного внезапного ударного облучения не погиб ни один человек. Первые двое были убиты взрывом, остальные получили смертельные дозы и в течение месяца умерли в результате нескольких часов работы в режиме «кванкадае». И тяжело пострадали лишь мужчины, выполнявшие свой долг и сознательно шедшие на риск, длительное время работая в сильнейших радиационных полях. Если бы оперативный персонал четвертого блока просто ушел с места происшествия — а на то была полная возможность — то те из них, кто погиб от острой лучевой болезни, сейчас были бы живы и здоровы. А для населения вообще копейный марлевый респиратор «Лепесток» и срочная эвакуация являются стопроцентно эффективным средством защиты от серьезного лучевого поражения при любой аварии на АЭС (в Чернобыле, увы, не было ни респираторов, ни срочной эвакуации). При всех других тяжелых технических и природных катастрофах выражения «спасательные работы» и «ликвидация последствий» обычно означают разборку руин и опознание трупов. От радиационной аварии практически все-

гда можно не то что убежать или уехать – пешком уйти (если вы не заперты на атомной подводной лодке, конечно).

На интуитивном уровне большинство людей это, видимо, понимают. Радиация как источник непосредственного беспокойства за жизнь и здоровье родных и близких для среднего нормального человека не существует на фоне десятков других, явно более реальных опасностей. Но в статистике поводов, на которых люди клинически сходят с ума, радиация занимает важное место, не в последнюю очередь благодаря подаче связанных с нею материалов в СМИ.

При огромном числе публикаций на темы, связанные с радиацией, наблюдается практически полное отсутствие упоминаний о естественном радиационном фоне. В действительности, разумеется, радиация – самый древний и стабильный из потенциально опасных факторов окружающей среды. Наш организм не просто подготовлен к заметному радиационному воздействию, он им в значительной степени сформирован – разделение полов, иммунные и репарационные генетические механизмы являются инструментом эволюции в борьбе прежде всего с радиационным фоном. Предыдущее утверждение можно сформулировать по-иному: любовь на Земле существует в значительной степени, если не главным образом, благодаря довольно сильному радиационному фону. Без нее не было бы ни мужчин, ни женщин. Помните в «Чёртовой мельнице» у Образцова:

Ты будешь ползать в мраке беспросветном,
Шипеть и размножаться почкованьем!

Так вот, мы размножились бы почкованьем, если бы радиационные, тепловые и химические мутации не заставили природу разнести дубликаты генетического кода не просто по разным клеткам, а по разным организмам, и применить все ухищрения информационной защиты, до которой шифровальщики и компьютерщики додумываются только сейчас. Нет, повторяю, угрозы, против которой природа вооружилась бы нас лучше, чем против радиации. Интенсивность естественного радиационного фона меняется на Земле в очень широких пределах, в десятки раз, причем эти вариации могут носить локальный характер, и люди от них не страдают.

В Ядерном обществе России, членом центрального правления которого с момента основания числится автор этих строк, до недавнего времени было четыре почетных члена – академики А.П. Александров, Н.А. Доллежал, Ю.Б. Харитон и бывший министр среднего машиностроения Е.П. Славский. Эти люди не просто история отрасли. На протяжении сорока лет они лично участвовали в создании, испытании и освоении всех видов ядерной техники – реакторного и радиохимического производства, оружия, надводного и подводного атомных флотов, многочисленных экспериментальных установок. От рудников до ядерных полигонов – они всегда были в первых рядах (Юлий Борисович Харитон, например, присутствовал на всех наших ядерных испытаниях в атмосфере). В первые годы им приходилось в самые ответственные и опасные моменты пусковых работ буквально исполнять обязанности операторов. Суммарные дозы, полученные ими за жизнь, наверняка измеряются не десятками, а сотнями рентген. Николай Антонович Доллежал здравствует и ныне, ему недавно исполнилось сто лет, а остальные трое скончались каждый на десятке десятке. Я верю, что эти люди искренне не понимали, чего от них хотят, когда слышали или читали фильмишки о губительности и смертоносности доз на уровне полрентгена в год.

Исключительная чувствительность современных методов регистрации излучений создает, как ни странно, одну из главных субъективных трудностей для ядерной энергетики. Появление нового источника радиации, вклад того или иного изотопа в радиационный фон может быть легко замечен на уровне тысячных долей ПДК, и это во многих случаях служит источником беспокойства или даже паники. За последние несколько лет пять или шесть раз проносился слух о том, что на нашей Обнинской АЭС произошла авария с большим выбросом радиоактивности, что «на Москву движется радиоактивное облако». Трижды эти слухи достигали Центрального телевидения и попадали первой строкой в телевизионные новости. В большинстве случаев инициирующим событием было рутинное сообщение группы радиационного мониторинга о регистрации следов короткоживущей радиоактивности, что практически неизбежно случается при работе ядерных реакторов. Уровни во всех случаях составляли доли процента от допустимых санитарными нормами. В химических производствах России нередки случаи, когда загрязнение атмосферы вредными веществами система-

тически превышает ПДК в десятки и даже сотни раз, приводя к совершенно реальным тяжелым последствиям, но реакция на общенациональном уровне практически отсутствует. Особо хотелось бы напомнить журналистам, чей хлеб бумага, что российская целлюлозно-бумажная промышленность многократно, несравнимо вреднее, чем российская атомная энергетика, и поэтому в Архангельске и Новодвинске жить опаснее, чем в Чернобыльской зоне. На тамошних предприятиях миллионы тонн размолотой органики заливаются миллионами тонн едких химикатов, — что получается, можно себе представить. Один из продуктов — метилмеркаптан, в Книге Гиннесса он фигурирует как «самое возмущающее вещество на Земле». Его концентрация в атмосфере Новодвинска часто превышает предельно допустимую в десятки, а то и в сотни раз.

Слишком многие журналисты считают, что в борьбе с «атомным монстром» хороши любые средства. Наша отрасль драматически уязвима по отношению к фальшивым газетным сенсациям. Она — очень легкая и выгодная добыча для прессы. Попробуйте понаблюдать по-другому на первую полосу «Известий» или в «Новость дня» на НТВ! Для этого надо в горячие точки садиться или предпринимать другие, часто тяжелые и опасные журналистские расследования. Но достаточно написать вершковскими буквами: «Атомная мафия скрывает еще одну мрачную тайну», а дальше что угодно, вплоть до ядерных зарядов, забытых в пермской тайге, или соев атомных бомб у Дудаева, — и дело в шляпе. Упомянутым «сенсациям» уважаемые «Известия» посвящают по целой полосе! И, что характерно, когда эти сенсации доходят, об этом либо полный молчок, либо несколько слов сквозь зубы.

Говорят: «Труд создал человека». Я с этим не согласен. Трудиться, и очень организованно, эффективно, умеют не то что животные — насекомые. По-настоящему выделяет человека из животного мира одно уникальное умение: он способен использовать энергоносители, отличные от пищи, и преобразовывать один вид энергии в другой. Этого не умеет ни один зверь. Весь мир сейчас озабочен продовольственной проблемой. Но она не просто связана с энергетической — это одна и та же проблема. Те три тысячи калорий, которые нужны каждому из нас для удержания души в теле — это примерно четыре киловатт-часа. Продукты питания — всего лишь специфическое топливо для тепловыделяющих элементов в наших клетках. Лишь около десяти процентов нужной ему энергии современный человек получает от сельского хозяйства с пищей, а остальное — от энергетики, в виде тепла, света и механической энергии транспортных средств. Мы семьдесят лет разрушали свое сельское хозяйство и преуспели в этом. Сейчас спохватились, но тут же принялись разрушать энергетiku — не только атомную, — да как! Пух и перья полетели. Чем позже наступит отрезвление, тем дороже обойдется нам опьянение безоглядого экологического романтизма.

В последних строках хочу обратиться к своим коллегам в Сороковке: не увяжайте. Вы лучше всех знаете, что почем. Уляжется чернобыльская пыль, и она станет истинная цена хлестаковским обещаниям: солнце! ветер! приливы! подземное тепло!.. Наше общество всмотрится повнимательнее в чуждое лицо сегодняшней Золушки. Желаю вам всего хорошего.
